Чехов А. П. 28.01.60.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
28 января 1960 г.

1860 Верный сын и гордость России 1960

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

ГЛУБОКАЯ И МУДРАЯ ПРОСТОТА

Хотя на поверхностный взгляд Чехов кажется одним из наиболее ясных, простых и общедоступных писателей, расшифровать его подлинные мысли и образы оказалось непосильной задачей для критиков четырех поколений.

Уже та разноголосица, какую вызывало в печати почти каждое новое произведение Чехова, показывает, как многосмысленна, сложна и трудна кажущаяся его простота.

«Двадцать лет непонимания» — лучшее заглавие для статей и рецензий о Чехове, печатавшихся в современной ему журналистике.

Немного знает история литературы более вопиющих ошибок, чем те, какие были допущены критиками в оценке чеховских рассказов и пьес.

Грубейшая из этих ошибок, самая тупая и злая, возникла еще во второй половине восьмидесятых годов, едва только Чехов появился в печати со своими первыми книгами.

В пору моей юности эта ошибка была уже давнишним шаблоном, повторяющимся, как узор на обоях, во множестве газетно-журнальных статей.

Об этой-то ошибке мне и хочется напомнить теперь, так как, опровергая ее, мы лучше всего уясним себе подлинную правду о художнических методах Чехова, о самом существе его поэтики, о тех кажущихся простыми, но на деле сложнейших приемах, которые с новаторской смелостью он применял в своем творчестве.

Ошибка эта заключается в следующем.

Как и всякий великий писатель, Чехов был мелиоратором жизни. Он не просто описывал жизнь, но жаждал переделать ее, чтобы она стала умнее, человечнее, радостнее. Но его художнические методы были так сложны и тонки, рассчитаны на такую изощренную чуткость читателя, что многие — особенно люди предыдущей эпохи, из так называемого поколения «отцов», — не только не поняли, куда зовет, чему учит и что проповедует Чехов, но именно вследствие неумения читать его книги, вследствие непривычки к его новаторским методам вообразили, будто он вообще никуда не зовет, ничему не учит, ни на что не жалуется, ничего не желает.

Все его взволнованное и горячее творчество показалось им праздною игрою таланта, постыдно равнодушного к скорбям и тревогам людей.

«Господин Чехов... не живет в своих произведениях, а так себе гуляет мимо жизни и гуляючи ухватит то одно, то другое».

«Господин Чехов с холодною кровью пописывает, а читатель с холодною кровью почитывает», — писали о Чехове «Русские ведомости» в 1890 году.

Это обвинение в постыдном равнодушии к людям, как нарочно, было предъявлено к Чехову в то самое время, когда он, кашляя, трясся в убогой тележке по сибирским колеям и ухабам, чтобы помочь сахалинским отверженным.

Автор этой статьи, знаменитый народник Николай Михайловский, на протяжении пятнадцати лет третировал Чехова, как поверхностного, безыдейного писателя, который будто бы только и делает, что «беспечно сидит на берегу житейского моря», и, «вытаскивая из него штуку за штукой, одна другой забавнее», с «беззаботным весельем озирает окружающую пошлость», а если и зовет куда-нибудь своих современников, то лишь к серенькому заурядному быту и обывательскому тусклому житью. В чеховском «Иванове» критик увидел борьбу с героическими идеалами прошлого, «идеализацию отсутствия идеалов», от которого «плесневеет душа».

Михайловский в ту пору был властителем дум большинства передовой интеллигенции. Его отзывы почтительно подхватывались всей столичной и провинциальной прогрессивной печатью, и стоило ему сказать слово о каком-нибудь литературном явлении, как уже множество его учеников и приверженцев на все лады повторяли его приговор в своих газетных и журнальных статейках. То же произошло и тогда с первыми же его статьями о Чехове.

Даже через десять лет после смерти Чехова в «Энциклопедическом словаре» Ф. Ф. Павленкова, пользовавшемся в ту пору успехом среди широких читательских масс, напечатана прежняя оскорбительно-лживая формула, преследовавшая писателя всю жизнь: «Отсутствие определенного миросозерцания, определенных требований и взглядов — вот отличительные стороны творчества Чехова».

Но для нас, тогдашней молодежи, Чехов был совершенно иным, и я живо помню то чувство обиды и боли, какое вызывали во мне, обыкновеннейшем провинциальном подростке, все эти многолетние нападки на Чехова, порою принимавшие характер хорошо организованной травли.

Смолоду ему было свойственно думать, что художественные образы в тысячу раз убедительнее, сильнее и действеннее, чем какие бы то ни было рассуждения и декларации автора, и он поставил себе правилом: раз навсегда воздерживаться в своих повестях и рассказах от всякой оценки тех событий, людей и вещей, которые изображаются в них. «Над рассказами, — писал он одной беллетристке, — можно и плакать и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно делать это так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление».

То есть, по его же словам, объективность у него была мнимая, кажущаяся, а на самом-то деле это всего лишь литературный прием, основанный на стойком убеждении, что его потаенные «стенания и слезы» тем вернее взволнуют и взбудоражат читателя, чем меньше он, автор, будет выпячивать их.

Он и не выпячивал их никогда. Ни одним словом не высказал он, например, своего возмущения, изображая в одном из позднейших рассказов того оскотинившегося деревенского «батюшку», который сидит за столом и пирует, когда к нему подходит раздавленная горем, несчастная женщина: у нее незадолго до этого — нарочно, по злобе — ошпарили насмерть ребенка. Священник даже не встает из-за стола и произносит привычные слова утешения с набитым едою ртом. Как бы для того, чтобы довершить надругательство над страдалицей-матерью, он вместо «святого» креста поднимает привычным движением вилку, на которую надет соленый рыжик. И кто же сомневается в том, что этот дрянной человек вызывает в Чехове чувство гадливости: чревоугодник, якшающийся только с богатыми, моральный соучастник их звериного хищничества. Но Чехов, изображая его, не высказывает ни малейших эмоций. Он говорит об этом ненавистном ему человеке ровным, бесстрастным, эпически повествовательным, матовым голосом, словно не чувствует к нему ни малейшей вражды.

«...Гости и духовенство,—пишет он, — ели много и с такой жадностью, будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей:

— Не горюй о младенце. Таковых есть царствие небесное».

И больше ни единого слова. Иному тупосердному и вправду покажется, что Чехов не питает никакой неприязни к этому так спокойно изображенному «батюшке».

Но за этим иллюзорным спокойствием чувствуется клокотание гнева. Ведь читателю невозможно забыть, что тем обедом, который с такой жадностью пожирает священник, его потчует убийца ребенка — та самая Аксинья, что плеснула в малыша кипятком. Уже то, что этот «батюшка» садится за один стол вместе с ней и с другими такими же, которые так пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них стала мошеннической, сильнее уличает его в негодяйстве, чем самые злые проклятия, которыми мог бы осыпать его менее «объективный» писатель.

А если это так, если Чехов никогда в своих зрелых новеллах не выступал в роли толкователя своих собственных образов и никогда не раскрывал своего, чеховского отношения к ним, от его читателей требовалось, чтобы с удесятеренной душевной зоркостью вникали в каждую из тех многозначительных черт, из которых он слагает свои образы, дабы в конце концов определить для себя, к каким из них он относится с ненавистью, а к каким с величайшей любовью.

Чехов и сам говорил, что он больше всего полагается на сотрудничество читателей, которые должны сами внести от себя элемент субъективного чувства в его якобы объективное изображение людей и событий. Когда Суворин посетовал, что, изобразив конокрадов в рассказе «Воры» (первоначальное название «Черти»), автор ни одним словом не раскрыл своего авторского отношения к ним, Чехов ответил Суворину: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, потому что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам».

...В рассказе «В родном углу» у молодой, поэтически настроенной девушки один из ее новых знакомых спросил:

— Вы изволите играть на рояле? — и вдруг вскочил, так как она уронила платок.

Здесь опять-таки почти весь человек обрисован стилем одной своей фразы — канцелярско-лакейским «изволите», которая врывается таким диссонансом в возвышенный и поэтический мир этой девушки. Можно ли говорить о Шопене и Моцарте этим пошловато-департаментским слогом? Всего лишь одно слово «изволите», но чуткому читателю ясно, что дело бедной девушки пропащее, что ее неминуемое сближение с этим приторно-вежливым, вульгарным, молчаливым субъектом обрекает ее в ближайшем же будущем на духовную смерть. Больше этот человек не произносит ни звука, но и этого достаточно, чтобы читатели всем сердцем почувствовали, что Чехов осуждает и ненавидит его, и поняли, как органически связаны с его единственной фразой все остальные черты, которыми он обрисован у Чехова, — черты тупого карьериста и деляги.

...Те образы, которыми здесь, в рассказе, Чехов обличает носителей зла, буквально кричат о его, чеховской, ненависти к этим людям, к создавшей их социальной среде. И вообще, если бы современные Чехову критики не были так глухи к языку его образов, они поняли бы, что очень нередко его «матовая», ровная, внешне спокойная, якобы бесстрастная речь — есть на самом-то деле пронзительный крик, в котором слышатся и восторг, и проклятие.

В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКАЯ В РОЛИ НИНЫ ЗАРЕЧНОЙ («ЧАЙКА»)

Мне роль Чайки принесли за несколько дней до спектакля, я не знала пьесы. В первый раз я прочла ее в эту ночь. Всю ночь пропланала. Утром я любила Чайку, и была она моей — я жила душою Чайки.

В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКАЯ.

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ В РОЛИ АСТРОВА («ДЯДЯ ВАНЯ»)

Антон Павлович Чехов очень обижался, когда его называли пессимистом, а его героев неврастениками...

Антон Павлович был самым большим оптимистом будущего, какого мне только приходилось видеть. Он бодро, всегда оживленно, с верой рисовал красивое будущее нашей русской жизни.

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ.

О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВА В РОЛИ МАШИ («ТРИ СЕСТРЫ»)

В 1917 году после перерыва в нашей театральной жизни, обусловленного политическими событиями в России,—первая пьеса, которую мы играли, была «Три сестры», и было у всех такое чувство, что мы раньше играли ее бессознательно, не придавая значения вложенным в нее мыслям и переживаниям, а главное — мечтам. И впрямь, иначе вся пьеса зазвучала, почувствовалось, что не просто это были мечты, а какие-то предчувствия, и что действительно «надвинулась на нас всех громада, сильная буря сдула с нашего общества лень, равнодушие к труду, гнилую скуку...».

О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВА.

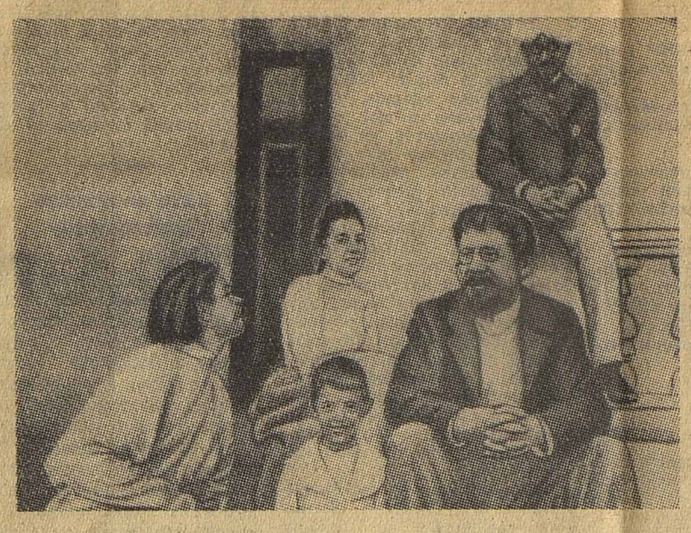
Л. М. ЛЕОНИДОВ В РОЛИ ЛОПАХИНА («ВИШНЕВЫЙ САД»)

После одной из последних репетиций «Вишневого сада» зашел ко мне Антон Павлович. Я очень обрадовался... Молчит. Но по глазам видно, что доволен. И тихо, глядя поверх пенсне, баском:

— Послушайте, теперь же совсем хорошо, и Оля (Книппер) тоже хороша, только немного молода.

Я был очень счастлив, услышав его одобрение, тем более, что на похвалу Антон Павлович был скуп.

Л. М. ЛЕОНИДОВ.



Он любил жизнь...

Лев НИКУЛИН

Он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил цирк, ездил со знаменитой украинской актрисой Заньковецкой смотреть ледяные горы, любил доброе вино, хорошо приготовленные русские и южнорусские блюда, дружеские застольные беседы, оперу «Кармен», легкую и серьезную музыку, но у него была острая чувствительность ко всему дурному, пошлому, злому, и он глубоко страдал, столкнувшись с грубостью, пошлостью, обывательской назойливостью. Отсюда, я думаю, возникали его горестные мысли об одиночестве.

Редко, очень редко он открывал свои тайные мысли. В одном письме к Л. А. Авиловой есть такие строки: «...вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось, я был наиболее несчастлив. В молодости я был жизнерадостен — это другое». Не так уж легко разгадать смысл этих слов. Вряд ли они относятся к Авиловой и к тому, о чем не вполне ясно сказано в ее воспоминаниях и в рассказе Чехова «О любви». Вернее всего, Чехов считал, что «наиболее несчастлив» он был в ранней молодости, когда вынужден был писать из нужды. Но вместе с тем тогда он еще не задумывался над сложными и мучительными для него вопросами человеческого существования, еще не сознавал своей личной ответственности за несправедливость и зло, царившие на земле. Это пришло позднее и принесло душевную боль, страдание от сознания своего бессилия изменить хоть что-нибудь в этой жизни. На самом деле он честно, доблестно служил людям своим чудесным, благородным талантом.

Перечитывая воспоминания о Чехове, его письма, изумляешься его кипучей деятельности, его энергии, работоспособности. Он интересовался политической жизнью России и Европы, жизнью народа, разумеется, и литературной жизнью, не пропускал ни одного сколько-нибудь ценного произведения.

Наблюдательность действительно стала его второй натурой, как он сам говорил. Где бы он ни был, в его памяти откладывались какие-то черточки, характерные особенности людей. Запас жизненных наблюдений Чехова был огромен, и потому он всегда, даже сломленный болезнью, стремился видеть как можно больше людей, стремился путешествовать, и даже в 1904 году — году его кончины — он думал о том, чтобы поехать в Маньчжурию в качестве военного врача.

Он понимал, что писатель не может жить вдали от людей, от жизни, и искал общения с людьми. Но тогда невольно задаешь себе вопрос: отчего же в его письмах, в записной книжке встречается нередко слово «одиночество», «круглое одиночество», почему он так «берег свою душу от постороннего глаза»?

Мне кажется, что здесь имела значение утрата дорогих ему людей, выдающихся писателей того поколения, которое ушло в труднейшие для Чехова годы, в годы его так называемого перелома: умер Щедрин, погиб Гаршин, которого Чехов полюбил, умерли Плещеев, Лесков, доживали последние годы Григорович и Яков Полонский, то есть лучшее, что было в литературе того времени, когда Чехов вырастал от произведения к произведению. К тому же болезнь делала свое дело: из милого Подмосковья он должен был переселиться в Ялту, где особенно тяжко было ему в зимние и осенние месяцы, тяжко и потому, что здесь жили люди, больные той же болезнью, которая свела в могилу Чехова. Но именно в эти последние годы жизни вокруг него собиралось новое поколение литературы, все самое талантливое, что народилось на грани двух столетий.

НА СНИМКЕ: **Горький и Чехов в Ялте. 900-е годы.**

ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Известный русский художник Константин Алексеевич Коровин (1861—1939) встречался с Чеховым на протяжении более двадцати лет. Знакомство их началось еще в студенческие годы: брат Чехова, художник Николай Павлович, был товарищем Коровина по училищу живописи, ваяния и зодчества.

Приводимый нами ниже эпизод взят из воспоминаний К. Коровина о Чехове. В советской печати эти воспоминания публикуются впервые. Следует иметь в виду, что писал их Коровин уже на склоне жизни, поэтому в них имеются отдельные документальные неточности.

Воспоминания К. Коровина, безусловно, интересны, образ Чехова-студента дан ярко, правдиво, глазами наблюдательного человека и художника, память которого цепка на живописные детали. Воспоминания печатаются с сокращениями по материалам архива музея МХАТа.

Н. ПОДОРОЛЬСКИЙ,
литературовед.

Это было, если не ошибаюсь, в 1883 году.

В Москве, на углу Дьяковского и Садовой, была гостиница, называемая «Восточные номера» — почему «восточные», неизвестно... Это были самые захудалые меблированные комнаты.

В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, а наверху, на втором этаже, — И. И. Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи, ваяния и зодчества.

Была весна. Мы вместе с Левитаном шли из школы, с Мясницкой... Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне:

— Зайдем к Антоше (то есть Чехову)...

В номере Антона Павловича было сильно накурено, на столе стоял самовар. Тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций — Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете на врача.

Он сидел на краю дивана. На нем была серая куртка — в то время много студентов ходило в таких куртках. Кроме него, в номере были незнакомые нам молодые люди—студенты.

Студенты горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечая на обращаемые к нему вопросы.

Он был красавец. У него было большое, открытое лицо с добрыми, смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие — от него как бы исходили флюиды сердечности и теплоты.

...Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, о горе и доверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души. Антон Павлович был прост и естествен, он ничего из себя не делал, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Прирожденная скромность, особая мера, даже застенчивость всегда были в Антоне Павловиче...

Студенты были другие, чем Антон Павлович... Они хотели управлять, поучать, руководить, влиять. Они знали все — все понимали:

— Кому нужны ваши рассказы? Развлечение—и только...

— И только, — ответил Антон Павлович.

— А почему вы, позвольте вас спросить, подписываетесь Чехонте?.. К чему такой китайский псевдоним?..

— Вы правы... — отвечал Чехов, смеясь.

И прибавил:

— Поедемте-ка в Сокольники... Прекрасный день... Там уже цветут фиалки... Воздух, весна.

И мы отправились в Сокольники.

От Красных ворот мы сели на конку и проехали мимо вокзалов, мимо Красного пруда и деревянных домов с зелеными и красными железными крышами. Мы ехали по окраине Москвы... Сидевшая рядом с Левитаном какая-то тетка из мещанок протянула ему красное пасхальное яичко и сказала:

— Съешь, красавчик (Левитан был очень красив)... Батюшка мой помер... Помяни его...

Левитан и Чехов рассмеялись. Левитан взял яйцо и спросил, как звали отца, чтобы знать, кого поминать...

— Да ты, красавчик, нешто поп?

Баба была немножко навеселе.

— Студенты, студенты... Под мышкой книжки, боле ничего... Тоже...

Мы приехали к кругу в Сокольники.

Выходя из вагона, баба, ехавшая с нами, обернувшись к Левитану, сказала на прощание:

— Помяни родителя... А как семинарию окончишь, волосы у тебя будут хороши... Приходи в Печатники... Анфису Никитишну все знают... Накормлю... Небось, голодные, хоша ученые...

Мы шли по аллее.

Лес был таинственно прекрасен. В лучах весеннего солнца верхушки сосен красноватыми огнями сверкали на глубоком темно-синем небе. Без умолку свистели дрозды, и кукушки вдали таинственно отсчитывали, сколько кому осталось лет жизни на этой нашей темной земле...

Антон Павлович и Левитан шли рядом, а впереди шли студенты... Издали видно было, как большие их волосы лежали на их пледах, что было своеобразно красиво.

— Что это там летит?.. — крикнул один из студентов, обращаясь к Левитану.

— Это, вероятно, сокол... — пошутил Антон Павлович. Летела ворона!

— А в Сокольниках, должно быть, и нет больше соколов... — прибавил Чехов. — Я никогда не видал, какой сокол... «Сокол ясный»... «О чем задумались, соколики»...

Мы подошли к краю леса. Перед нами была просека, где лежал путь железной дороги. Показались столы, покрытые скатертями. Много народу пило чай... Самовары дымились... Мы тоже сели за один из столиков — чаепитие было принято в Сокольниках. Сразу же к нам подошли разносчики...

Булки, сухари, балык, колбаса копченая наполняли их лотки.

— Пожалуйте, господа хорошие...

Около нас за другим столом разместились сильно подвыпившие торговцы типа Охотного ряда и недружелюбно оглядывали нас.

— Вы, студенты... — заговорил один, сильно пьяный, обращаясь в нашу сторону, — которые ежели... — и он показал нам кулак.

Другой уговаривал его не приставать к нам.

— Не лезь к им... Чего тебе... Мож, они и не студенты... Чего тебе...

Видно было, что мы не нравились этой компании — трудно понимаемая вражда к нам, «студентам», прорывалась наружу.

Антон Павлович вынул маленькую книжечку и что-то быстро записал в ней.

И, помню, он сказал мне, когда мы шли обратно:

— А в весне есть какая-то тоска... глубокая тоска и беспокойство... Все живет, но, несмотря на жизнь природы, есть непонятная печаль в ней.

А когда мы расстались с нашими студентами, он сказал, улыбаясь мне и Левитану:

— Эти студенты будут отличными докторами... Народ они хороший...

САДУ ЦВЕСТЬ!

Весна 1903 года в Ялте была холодной и ветреной. Чехова мучил долгий, удушливый кашель. Прошло 20 марта — к этому числу Антон Павлович хотел кончить пьесу, — а на письменном столе так и осталась нетронутой стопка бумаг с аккуратно выведенным заглавием «Вишневый сад».

За пьесу он взялся лишь в середине мая на даче фабриканта Якунчикова, в двух верстах от Наро-Фоминска.

...Осенью одновременно с началом учебного года в Наро-Фоминском доме пионеров начал работать кружок юных краеведов. Тему работы выбрала руководитель кружка Антонина Михайловна Большова. Называлась она «Чехов в Наро-Фоминске».

Начались поиски: где именно жил в это время Чехов и над чем работал?

Через несколько недель появились первые сведения: стал известен дом, где жил Чехов. Обнаружили одну очень важную деталь: обстановка 2-го акта «Вишневого сада» очень напоминает место около дачи Якунчикова — часовня, скамейка, город вдали.

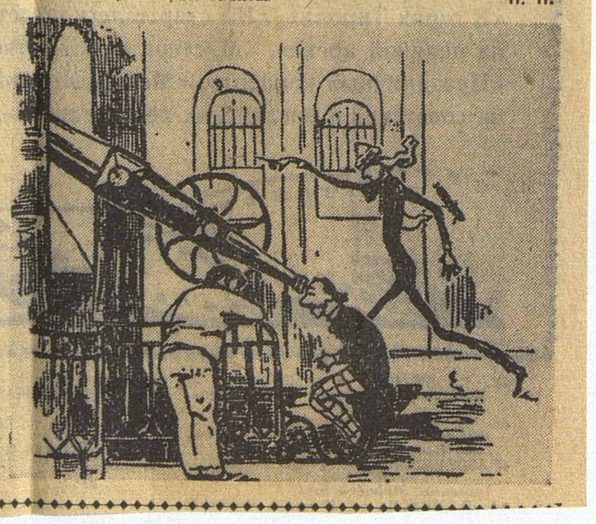
В ноябре работа над темой подошла к концу. Было собрано много интересных материалов, связанных с пребыванием Чехова в Наро-Фоминске. Их нашли в письмах писателя, текстах «Невесты» и «Вишневого сада». Руководитель кружка Антонина Михайловна Большова запрашивала музеи, поговорила не с одним десятком старожилов Якунчиковой дачи. Там многое изменилось. Барский дом сгорел. Поредел израненный снарядами лес. А домик, где жил Чехов? Старожилы показали на бревенчатый сруб: здесь! Сравнили с фотографией. Да, действительно он. Те же три окна без наличников. Нет только вишневого сада. А может быть, посадить его?

Наро-Фоминский исполком помог ребятам. И вот в одно из воскресений на Якунчиковой даче появились школьники с лопатами и целой охапкой тонких саженцев. К вечеру перед домом уже стоял молодой вишневый сад.

Снова перед бревенчатым домиком на Якунчиковой даче по весне зацветают вишни. В ветреные утра землю устилают розовые лепестки цветов, и так же, как и полвека назад, идут по этому чеховскому саду ребята к реке, останавливаются, чтобы поправить покривленные ветром тоненькие стволы.

«Летающие острова» — так называлось одно из ранних произведений великого писателя. В нем рассказывалось, как Джон Лунд, Вильям Болваниус и Том Бекас совершили полет к таинственным пятнам на 18 аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находились сгущенный воздух и аппараты для изготовления кислорода.

23 года было Антону Павловичу Чехову, когда он написал эту пародию-шутку, имитирующую стиль популярных романов Жюля Верна. Надо сказать, что «Дети капитана Гранта» — книга, которой зачитываются до сих пор дети во всех странах мира, была одной из любимых книг и братьев Чеховых в детстве.

Приводимый нами рисунок, изображающий мистера Лунда и его друзей в астрономической обсерватории, принадлежит художнику Николаю Чехову, брату великого писателя. Рисунок был сделан им в числе других для первого сборника произведений Антона Павловича. Сюда вошли и «Летающие острова». Но читатель не увидел сборника: у братьев Чеховых не хватило средств для его издания.

Н. П.